

Записав какую-то очередную мысль в блокнот, машинально, как ракета отработанную ступень, бросил карандашный огрызок под дерево: авось, снова вырастет – деревом, лесом.

И был в этом произвольном движении некий момент возвращения, ведь и я однажды полюбил книги, как лес, и когда в семнадцать зимовал в бурятском посёлке, посреди сплошной жёлтой степи с завихреньями гнилого березняка на горизонте, – и сам стал писать, уже осмысленно, целенаправленно, ни книг, ни, видит Бог, славы ради, а словно бы возвращая лес, населяя им унылую равнину жизни.

И кто бы тогда подсказал, что уже никогда не вернётся незабвенное времечко первых любовей, первых серьёзных болей, первых черновиков и карандашей, а там и вовсе придёт пора, когда вот этот исписанный карандашик останется едва ли не единственной и последней надеждой на то, что всё-таки не канут бесследно ни жизнь твоя, ни твои книги, ни те невозвратные семнадцать с их крошечным одиночеством на краю мироздания, в центре безжизненного бумажного пейзажа, на переднем фланге русского слова.

ДИЛЕММА

Богу, пожалуй, всё ещё угодны, а вот людям больше не нужны. И вдруг кошунственное, но и правдивое, искреннее в своём порыве, а стало быть, по сути: вот бы эту угодность сменить на нужность, если уж нельзя совместить! Но в то же время и сомнение: а зачем такая нужность, которая не угодна Творцу?

КРЫЛЬЯ

Непогода весь день, холод, ветер и то едва дребезжит; когда ветер тише, то захлёбывается винт деревянного самолёта, вытесанного мною после того, как забрался на крышу и увидел, что старый разохся и стал

крошиться. Тот, первый, я установил в год окончания школы, новому от него достались лишь алюминиевые крылья, и есть в этом тайный символ, как будто крылья достались мне, теперешнему, от семнадцатилетнего меня. Но не только дерево взялось трещинами и со временем пришло в негодность, не только я постарел! Даже винт из нержавеющей стали перетёрся и валялся на полпути к водостоку, должно быть, смытый туда дождями или оползший с весенним снегом. Пришлось вырезать и выгнуть другой, просверлить в центре и навесить с носовой части. Я выточил её заострённо, сообразно со строением птицы, то есть как и задумывалось первыми авиаконструкторами. И когда, наконец, мой самолёт был готов, отполирован шлифовальной бумагой и в завершении покрыт распылённой из баллончика серебрянкой, я снова взлез на крышу, как, наверное, взбираются на неё, чтобы водрузить знамя, и закрепил своё детище, повернув на запад винтом, хвостом на восток. Винт почти сразу дёрнулся, словно в нём проклюнулась электрическая искра, а через миг раскрутился до прозрачного кружочка и с подвывом загудел. Был уже вечер, гасло солнце, облака на закате светились, как неоновые. Я сидел на коньке, курил сигарету, слушал натужный рёв самолёта и, может быть, в этот момент возвращался, словно на спине фантастической птицы. Ну а если и не возвращался, всё равно по-своему это было хорошо – ветер, самолёт! Пусть и дальше гудит в тревожные минуты жизни, напоминая о днях её, которые, как известно, скоротечны и вот уж действительно невозвратимы, если не считать этого снова объявившегося в моей судьбе самолёта. А там, глядишь, ещё что-нибудь вернётся ко мне – чистое, юношеское, просящее лишь крыльев и неба.

«А ВЕСНОЮ УЖАС БУДЕТ ПОЛНЫЙ...»

Поднималась и шла, как несметная сила. Стремительная и полноводная, наполняла берега по самую кромку. Выползала на угор, заливала луговые низины. По рытвине на Затоне двигалась в сторону деревенского кладбища. Плыли деревья, доски, лодки, собака на льдине, теплицы с дачных садоводств. Деревенская пацанва, мы ловили рыбу в устье Казарихи, отделившей Казарки от Подымахино. Свежесрубленные сосновые удочки, ещё смолистые, прилипали к рукам. Дядя Вася Саманчук ехал на красных «Жигулях» шестой модели. Притормозив, отворял дверцу и пугал, весело скаля железные зубы:

– Ну всё, хлопцы, хана вашей рыбалке! Скоро гробы поплывут...

И мы, забыв про поплавки из пробок от винных бутылок, с ужасом смотрели на мутную воду, и потом, вечером, вернувшись с рыбалки, то

и дело бегали на угор, сидели в сумерках у реки, как на берегу мифологической Леты, и ждали, а ночью ворочались в своих страшных снах и размётывали одеяла...

Назавтра шли в школу, поднявшауюся в два этажа над Леной. На переменах выходили за калитку, смотрели на огромный кипучий простор. Шапки пены вились на течении, и мы кидали в эту пену камни, совали палки, а между делом передавали дяди-Васины вещие слова. И вскоре не мы одни, а вся школа выходила на угор и ждала. А на уроке учительница, встав с книжкой у окна, за которым ярилась вода, грозя подмыть берег и уронить школу, как будто нарочно читала тихим голосом:

*Я умру в крещенские морозы,
Я умру, когда трещат берёзы.
А весной ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!
Из моей затопленной могилы
Гроб всплывёт, забытый и унылый,
Разобьётся с треском,
и в потёмки
Уплывут ужасные обломки...*

Всё это, все эти вещи, слова, впечатления смешивались, наплывали друг на друга, как весенние льдины, и сочетались, словно в калейдоскопе, рождая причудливую картинку. На ней и спустя годы всё как прежде: течёт река, рыбачат ребятишки, дядя Вася пылит на своей допотопной «жиге». И школа из белого кирпича стоит на угоре, постаревшая учительница читает у окна, а человек с залысиной, скрестив руки на груди, внимательно смотрит на меня с выцветшего газетного портрета, по-деревенски наклеенного на кусок фанеры.

«И ЖАЛЕЕШЬ, И ЛЮБИШЬ МЕНЯ...»

К обеду разъяснило. Солнечно. Рябь таловых озёр. Мост через Казариху оголился, на перилах – ключья водорослей и сырая ольховая ветка.

В лугах увязалась молодая доверчивая телуха. Такая же ласковая и жёлтая, как солнце. Подбежала с рёвом, поддевая рукав языком. Едва отогнал сломленным прутиком полыни. Долго стояла, глядела в спину; не могла понять: за что я её? И почему-то пришли на память стихи покойного самарского поэта Михаила Анищенко:

Оглянусь: ты стоишь у плетня,

*Ожидая, что всё-таки струшу..
И жалеешь, и любишь меня,
Как свою уходящую душу.*

...Я хотел бы думать, что не уйду бесследно, останусь в птице, в облаке, в проплывшей льдине... Или, на худой конец, – в строке. Но не могу себе соврать: никогда, нигде и ничем больше меня уже не будет. А пока я ещё есть, что меня ждёт? Разве что вот это потрясающее одиночество, когда – земля да небо, и никому ты в целом свете не нужен – ни отцу, ни царю...

И только телуха стоит, смотрит в спину. И жалеет, и любит меня.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

До самой Королихи ничего, только в небе над Перевесом протянула пара гусей, а мой скрадок из осоки и прутьев краснотала кто-то сломал, скорее всего, пущенные на выгон коровы. Собирать не стал, плюнул и подался на дальние озёра, надеясь, что, может быть, там повезёт. По пути проведаль своих на кладбище, убрал пластиковую посуду, оставленную с Родительского дня. Одно из озёр разлилось неподалёку, в глубокой естественной пókати через дорогу, и по его обрешью ходило много куликов. Я сказал брату, погибшему несколько лет назад: «И куличков тебе видать!» Посмотрел на меня, улыбнулся. Или это движение произошло оттого, что я заплакал, и от слёз, набежавших на глаза, черты лица на металлической табличке исказились, как живые.

Старый бревенчатый мосток через Королиху заткнуло нанесённым хламом. Получилась запруда. Такой бурун, что земля дрожит, ноги подкашиваются и шапищи жёлтой пены лопаются рваными ноздрями. От греха обошёл по автомобильной трассе, сделав порядочный крюк. Уже за речкой громыхнул с угора по табуну чёрнетей, но мимо, а потом до Соснового ручья – голым голо. Правда, встретил ондатру. Она плыла по течению Лены вдоль кромки выброшенного на берег льда, часто останавливаясь, чтобы объесть кору с молодых талиновых веток, как кукурузный початок.

Возвращался через час – чернети, по которым промазал, плавают на том же месте. Подполз из-за бугра, незаметно развёл стволом высокую сухую траву, сотворив бойницу, выцелил селезня – и выстрелил. Макнул в воду головой. Остальные с криканьем разлетелись. Подбираясь, а затем стреляя, я не рассчитал как следует расстояние от берега до уток, отчасти потому, что удалённость цели по-своему скостил выдвинувшийся над Леной бугор. А когда я сошёл вниз, оказалось, что до убитого селезня не

меньше двадцати метров. В этом месте – глубокая ямина, перед началом навигации здесь пристаёт путейский катер, чтобы починить и покрасить створ или поменять аккумулятор с лампочкой. Иными словами, достать селезня без лодки не было никакой возможности. И всё-таки я связал несколько жердей и кое-как, самым кончиком этого многоколенного шеста дотянулся до селезня, но вместо того, чтобы как-нибудь приблизить к берегу, случайно толкнул в противоположную сторону. Этого движения было достаточно. Селезня вытолкнуло на течение, омывающее ямину, а там и на кипучую быстрину, по которой он и уплыл, чернея между затопленных кустов, как унесённая шапка. За ним последовал шест, который я в сердцах швырнул в воду...

Шёл домой, прокручивая в голове случившееся, чтобы обнаружить в потере уже, казалось бы, положенной в рюкзак добычи какую-нибудь закономерность. И только проходя в сумерках мимо кладбища, вспомнил, что уток этой породы в юности я называл «чёрнигами» – по примеру старшего брата, который лежал теперь за деревянной изгородью и, может быть, слышал мои шаги. У кого заимствовал это искажённое слово брат, я не знаю, вероятно, у прежних деревенских охотников. Лишь спустя год или два после смерти брата я вычитал в одном охотничьем журнале точное название этих уток и не сразу, со временем стал говорить правильно. Но, в очередной раз сказав сегодня «чёрнеть», я подумал, что вместе с устранённой из моей речи языковой ошибкой в определённом смысле подвинулся к своей окончательной гибели и мой старший брат, ведь до тех пор он ещё жил, ещё держал оборону живого себя во мне посредством этого одного-единственного слова, которое я усвоил от него. А может, это я какое-то время оборонял живого брата в себе, говоря «черниг» вместе «чёрнеть», чтобы брат длился и длился, но потом и сам, ещё того не понимая, сдался, и его сдал – забвению и тишине. И хорошо ли моё нынешнее знание? Прибавило оно что-нибудь или, наоборот, что-то навсегда разрушило? И не для того ли река украла у меня селезня, чтобы пусть на миг, но вернуть живого брата?

ПЕРВАЯ

«Влюбились с первого взгляда, поженились, жили душа в душу и умерли в один день...»

А в жизни: забросили удочки, и поплавки поплыли рядом.

Я:

– Видишь, наши поплавки уже познакомились!

...Было это на летних каникулах. Катались потом за посёлком на велоси-

педах, упали, приклеивал к её разбитой коленке наливанный подорожник. Обменялись адресами – и ни разу не написали.

ЖЕНЩИНА

...А всего и было: отвернула, съехала с дороги, привалила свой дамский без верхней рамки к напружиненному кусту ольхи.

– Мне надо! – сказала.

Порскнула, огляделась, повозилась, сминая осоку, и осела, как птица на гнездо. А уже через миг поднялась, тревожно всматриваясь в просвет между ветвями...

С горящей, как факел, башкой катился следом.

– Мне надо! – выдохнул, когда переехали студёную речку; убежал, шарахнулся за огромную толстую берёзу.

«Господи!» – прошептал и расстегнул бляшку. Брызнул, зажмурясь, подув с минуту в кулаке. Упало на сухие прошлогодние листья с мягким обильным шорохом. Опростав до дна, вынув, освободив. Не загасив, а скорее раздув огонь, облачив его в выпуклое стекло доселе неведомого чувства...

Озарив таким диким искренним счастьем, что готов был сорвать с неё босоножки и целовать каждый пальчик с налипшими соринками. И только за то, что в глазах её, когда вернулся, было так много кротости и мудрого женского понимания.

«ИДЁТ» СТРЕКОЗА

«Филология – то же самое ужение рыбы, и здесь можно достичь выдающихся результатов. Но чтобы знать водоём изнутри, нужно быть рыбой...»

Сколько лет прошло с тех пор, как мне, студенту филфака, явилась эта снобистская мысль, а всё-таки не стёрлась из памяти и снова напомнила о себе!

Я как раз стоял с телескопической удочкой на галечной косе, потому что второй день «идёт» стрекоза и шум – как будто шуршит на ветру конфетный фантик. Плеск: это вылупившиеся стрекозы, ещё не расправив крылья, падают на воду, где их склёвывает рыба. За вечер берестяной турсук полон ельца и сороги. Между перемежающимися тонами начищенного серебра и зачерневшей музейной бронзы – как драгоценности на дне сундука – лежат молодые ленки и хариусы. Отливает краплёным изумрудом краснопёрый окунь. И ещё характерная черта этих дней: де-

ревенские кошки крадутся под речным угором, стерегут стрекоз, когда те выползают из коконов, бегут за ними, летящими низко, и, сбив, мягко прижимают лапой. Некоторое время пружинно поводят хвостом, должно быть, утишая в себе охотничий азарт или, наоборот, распаяя его...

Впрочем, чтобы это постичь, мало быть писателем. Нужно – рыбой, кошкой, стрекозой. Или жить в деревне, где приходишь к пониманию вещей без посредства бумаги, с некой первоначальной естественностью, как будто никакой бумаги, никакой литературы никогда не было и всё это, весь этот мир, ещё никем не познанный, едва-едва образовался во Вселенной и тебе, а не кому-то другому выпали счастье и мука впервые лицезреть его и оставить в Слове.

РЫБЫ

Пока бросаешь – все здесь, сплываются на хлебный мякиш. Перестал бросать – и нет ни одной. Или, может быть, это тебя для них больше нет, а сами-то они как были, так и остались, и потому только не сплываются, что не бросаешь?

И тоже: вся надобность в тебе – разве что в этом хлебе! Но и у тебя надобность – в этих рыбах. И модель вашего союза – тебя, бросающего корм, и рыб, на него сплывающихся, – легко можно перенести на взаимоотношения писателя и читателей, актёра и зрителей, музыканта и слушателей, во всех трёх парадигмах если и объединённых между собой какой-либо внутренней связью, так это знаменателем такого тратящегося понятия, как жизнь автора.

В ГОСТЯХ У ПОЭТА

Он, кажется, остался в небольшой обиде – за то, что меня пригласили на фестиваль, а его нет. Я видел его на открытии, специально ради этого прибывшего в осенний яркий Иркутск из своего отдалённого района. Не знавшего, куда приткнуться в гулком конференц-зале. Какого-то ненужного, смущавшего этой своей ненужностью. И ранимого, как все провинциальные таланты.

Спустя день-два уезжали на Ангару, где родился наш знаменитый земляк. Рассаживались в микроавтобусе согласно списку и количеству посадочных мест – поэт, с утра пораньше явившийся в гостиницу, остался на дороге, жёлтой от нападавшей за ночь крупной тополиной листвы. Такая чеховская сцена.

– Видишь, тебя позвали...

Назавтра обсуждали, как его выгнали с поэтического вечера, на котором он напился и вёл себя непотребно, лез на сцену и вырывал микрофон.

...И вот – посёлок у чёрта на куличках. Квартирка-норушка в хрущёвке из красного кирпича, на углах будто выглоданного. Советские – двери, вешалка, люстра. И даже запах – старый, давнишний. Не затхлый, но каких-то прежних времён. Как из откупоренной бутылки, многие годы простоявшей в кладовке.

Живут с матерью.

– А что? Мать пенсию получает, я – работаю опекуном у одного старика. Картошки накопили, капусты запасли. Нам с матерью во-от так хватит! – чиркает себя большим пальцем по горлу.

Капуста тут же, в прихожей, в бугристых мешках из-под муки. Собрались солить.

Мать выглядывает из кухни. Живая, с необходимой пружиной в голосе. На таких всё и держится, весь наш мир, когда его остервенело рушат наши жёны. Здоровается приветливо. Но по тону понимаешь: люди заняты делом.

– Что же вы стоите в прихожей? Саня, проводи в комнату.

Поэт показывает какие-то самодеятельные издания, в которых опубликован. Подписывает тонюсенькую книжечку, вышедшую в некогда популярной сибирской серии. И о чём-то всё рассказывает, рассказывает. О том, например, что журнал, напечатавший его стихи, доходит даже до Карелии. И что Миша Кривошеин, поэт из соседнего посёлка, – его друг и классик русской поэзии.

Сообщаю ему, что столичный критик похвалил его стихи, а одно прочитал вслух за праздничным ужином.

– Какое?! – дрогнул голос.

Мать – нетерпеливо:

– Са-аня-я?!

...Повернулся уходить – гвоздь, вылезший из каблука, зацепился за половичок. Половичок из разноцветных тряпочек поволокся следом. Такая в духе раннего Достоевского сцена.

Квартирка поэта – окнами на дорогу. Бывая в этом посёлке и раньше, я часто проходил мимо трёх пыльных обшарпанных рам, за одной из которых сейчас стоит человек. Голова его седа. Жизнь – почти прожита. Нет детей, одни стихи. Тихие, добрые. Во всём районе никому ненужные, кроме Миши Кривошеина.

Я машу поэту рукой. Дай Бог здоровья и долгих лет жизни твоей маме, поэт.

ОДИН

Когда один в осеннем лесу, в котором много молчания и синей волчьей ягоды...

...или бредёшь бугристой пашней, поднятой ещё твоими предками, но с недавних пор заросшей кустарником...

...продираешься ли некошеной луговинной, где когда-то столовались деревенские косари, а теперь в свалывшейся траве чернеют позвонки рухнувших шалашей...

...сидишь ли на пороге ветхой охотничьей избушки, чей хозяин жив ли...

...и если есть в этой избушке какие-нибудь особенно личные предметы, будь то расчёска, мундштук из заячьей кости или пожелтелая газета, которую до тебя читали неизвестные тебе люди...

...вообще, бывая там, где никого не встретишь и где сам прежде не был...

...и если светит солнце, стелются облака, какие вот также плыли задолго до твоего рождения, а то и до сотворения всего...

...то мысли твои светлы, как в юности, и вспоминаешь всего себя разом, с самого начала...

...и оттого неумолимей тоска расставания, а из сердца найдёт мысль о том, что был здесь, видел и осязал это всё – в последний раз и таким, как сегодня, уже никогда не будешь...

Так приходит понимание, что смерть есть, прежде всего, прощание с таким собой, каким ты был ещё вчера.

ПИСЬМО В НИКУДА

Во первых строках сообщаю, что как есть пришедши из леса, где я собственной персоной готовил из молодых берёз черенки для вил и лопат и наслаждался величием природы, как выражаются городские поэты. В то же время Шарик забурился под корни ветровальной кедрины, замыслив докопаться до бурундука, благоразумно юркнувшего в норку, и на природу плевал глубоко и конкретно, а когда я потащил его за хвост, оглянувшись с таким видом, как будто хотел сказать: «Ты кого тянешь, падла?!»

...Шёл сегодня по задичавшему совхозному полю, в котором бродили чьи-то коровы, как вдруг вспомнилось что-то такое из юности, с таким же промозглым осенним днём. И стало грустно, хоть плачь! Но и светло, как в осиннике, когда листья осыпались, и в голых ветках – синь неба, клин гусей, след от пролетевшего самолёта. И тем отчаянней воз-

мечталось, чтоб рука об руку шла любимая женщина: взять, подвинуть за плечи, поцеловать. Сказать, что долго ждал...

В лесу медведь взбороздил муравейники, поставил на по́па камни у дороги. Осень, пора подыскивать берлогу, а он всё быкует! Шарик несколько раз рывкнул в глубину леса – туда, где треснул сучок, и в его голосе было много понимания и правоты.

Видел на большой пихте чьё-то гнездо и рядом, на сучке-рогатке, заячью лапу. Вероятно, здесь живёт какая-нибудь языческая богиня, по утрам ударяется о землю и превращается в красну девицу, бродит с лукошком и охмуряет бродячих писателей.

На обратном пути срубил берёзовый нарост – кап: на пепельницу (курить, когда снова будет грустно), или на рукоятку ножа (полоснуть по горлу, когда – всё равно).

Шарик натёр лапы, с понурым видом плёлся сзади – заматерелый, постарелый. Шарик-старик. Даже не верится, что жизнь его прошла. А ведь, казалось бы, ещё вчера шатались в здешних лесах весь октябрьский ветреный день, когда уже лежал снег, и жали первые морозы, и такая радость пучилась в груди, такой пружиной сжималась душа в ожидании первой полайки! В обед пили чай, задымив костёр на пустынном берегу таёжной речки, и Шарик нюхал выплеснутый с опивками лист смородины, и лист – тёмно-зелёный, напревший – остывал на снегу и неизъяснимо хорошо пахнул. И уже было чем-то лишним, если Шарик вдруг срывался, должно быть, заслышав звук белчих коготков, царапнувших дерево, и вскоре начинал базлать – страстно, захлёбываясь, если белка сидела на виду и дразнилась. И хотелось скорее прекратить этот лай, лишь бы снова, как льдинки в луже, собралась разбитая выстрелом тишина...

Вспоминались любимые стихи:

Не видно птиц. Покорно чахнет

Лес, опустевший и больной.

Грибы сошли, но крепко пахнет

В оврагах сыростью грибной.

.....

А в поле ветер. День холодный

Угрюм и свеж — и целый день

Скитаюсь я в степи свободной,

Вдали от сёл и деревень...

(Подумать только, Ивану Алексеевичу было всего девятнадцать, когда он вышагал эти строчки, которыми восторгался сам Толстой!)

...И вот Шарик – старик. Не успевает, пропадает из виду. Ждал его на опушке. Думал о том, как это несправедливо: он постарел, а я ещё нет. И что его скоро не будет... Посмотрел потом на него. А он как будто всё понял. Тоже посмотрел на меня, подняв низко опущенную голову, и тяжело так вильнул хвостом. Всего лишь раз-другой.

ЗАБЫТАЯ СТРОКА

Вычитал в школьном блокноте: чист, как молодой маслёнок. Написано простым карандашом и уж конечно не за писательским столом, которого в ту пору как такового не было, а на острой юношеской коленке...

Поэзия, только она даёт ощущение нравственной чистоты. Только зная и любя её, человек вправе сказать: я чист, как молодой маслёнок!

ПЛУГ

Нашёл его в один из дней минувшего лета, когда искал грузди в пересовских лесах за валами, за полями, за покосными лугами. Не сразу сообразил, как он очутился среди деревьев, каждому из которых не меньше тридцати лет. Только потом догадался, что не так давно на месте этого леса была пашня, туда-сюда ходили трактора, таскали плуги, бороны, сеялки. Однажды этот плуг отцепили прямо в поле, в конце борозды, – скорее всего, там, где становалась тракторная бригада. Наверное, думали вскорости забрать. Или оставили до будущей весны, когда бригада снова придёт в эти дальние поля по ту сторону Лены. Но началась перестройка, всё пошло кóсом – и не только брошенный плуг, но и страна стала никому не нужна. И вот стоит он в молодом лесу, как памятник государству, которого уже нет, а эти берёзы и осины – словно венки, возложенные к подножью...

Постоял рядом, приложив руку к забытому, ржавому, с некогда нашлифованными до зеркального блеска, а теперь потускневшими лемехами. Подумал о том горьком, что выпало на долю русской пашни в конце двадцатого века. Набрался вековой мужицкой силы, распахавшей здешнюю тайгу, поднявшей наши северные земли. Запомнил это отныне сокровенное и святое для меня место – и пошёл, чтобы писать свои книги и однажды оставить карандаш в конце исписанного листа, как плуг на пашне, и уйти в ту же землю, полную холода, льда, вечности.